МИЛА СЕВЕРИНА



Бывшая жена генерала-дракона

Свадьба без метки

Мила Северина

Бывшая жена генерала-дракона. Свадьба без метки

«Автор»
2026

Северина М.

Бывшая жена генерала-дракона. Свадьба без метки /
М. Северина — «Автор», 2026

Мне осталось пятьдесят три дня до конца пепельной ленты. Потом я смогу снова выйти замуж — за кого захочу. Если доживу.Император объявил моего бывшего мужа, генерала-дракона, изменником. Над Тальмой кружат драконы на поводке трона, город в блокаде. А в глиняных табличках Первой курильни записано то, что двор прятал веками: право истинной — подделка. Когда-то метка расцветала на обоих — и только если выбирали оба.Чтобы вернуть этот договор, мне нужно дойти до столицы с пеплом сотен брошенных жён и зажечь аромат выбора на глазах у всего двора. А ему — выбрать меня сквозь чужой поводок. И ещё раз — когда его зверь замолчит.Третья, заключительная книга трилогии «Аромат истинной». Начните с книги «Бывшая жена генерала-дракона. Истинная пахнет ложью».После развода. Генерал-дракон. Истинная. Свадьба после развода. Героиня-парфюмер. ХЭ.

© Северина М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Пятьдесят три дня 6
Глава 2. Две смолы 10
Глава 3. Дымный мыс 14
Глава 4. Огонь над мысом 18
Глава 5. Гаэтан 22
Глава 6. Изменник 27
Глава 7. Седьмая табличка 31
Глава 8. Право — ложь 35
Глава 9. Осада 39
Конец ознакомительного фрагмента. 41

Мила Северина
Бывшая жена генерала-дракона. Свадьба без метки

Мила Северина
Бывшая жена генерала-дракона
Свадьба без метки
Трилогия «Аромат истинной». Книга третья

Глава 1. Пятьдесят три дня

Лето в Тальме начинается с апельсинов.

Не с цвета — цвет отходит весной, — а с первых плодов: зелёных ещё, твёрдых, которые мальчишки сбивают палками из садов за рыбным рядом и потом весь день ходят с горькими от корки пальцами. Я узнаю лето по этому запаху раньше, чем по солнцу. Горечь, зелень, чуть-чуть масла на коже — и где-то под ней, совсем тонко, обещание сладкого, которого ещё нет.

В то утро так пахло всё. Улица Медных Весов, мокрая после поливки. Задняя комната, где Сабина и Мелисса разливали по склянкам лаванду с мёдом для Ассунтиной корзины. Двор, где Арман с плотником ставил новую стойку для бочек. Даже Фитиль, который успел вываляться где-то в апельсиновых корках и теперь лежал у порога с видом героя.

У нас были свои деньги. У Сабины — своя жестянка под половицей. У Марисы — своя. У Элены — своя, хотя Дорсан присылал ей каждый месяц столько, что хватило бы на три лавки, и она каждый месяц отсылала половину обратно с запиской: «Я сама».

Я стояла за прилавком и думала, что, кажется, счастлива. Это было непривычно. Как новые туфли.

Курьер пришёл в полдень.

Второй раз за этот год — человек в белом, императорском, на взмыленной лошади. Только в этот раз он спросил не лорда Валеро.

Он спросил меня.

Он протянул мне пакет через прилавок — двумя руками, с поклоном, как протягивают вещь, к которой не хотят прикасаться. Тяжёлая бумага. Красная печать. Дракон над морем, корона.

«Мастерице Ирис Мерель, бывшей леди Валеро. По древнему обычаю, в День Сорро, у Большой курильницы на площади у дворца, мастерица Мерель подносит свою смолу Аромату единства. Двор ожидает её».

Почти те же слова, что прошлой осенью. Только тогда меня звали к чужой невесте, а теперь — к самому трону.

Я подняла печать к лицу.

Мирра.

И горькая зелень — такая густая, что у меня заслезились глаза. Не след. Не тень. Так пахнет флакон, который только что открыли.

А под зеленью, на самом дне красного воска, — хлеб. Соль перед грозой. Пудра ирисового корня.

Я.

* * *

Я стояла за прилавком с этой бумагой в руке и не могла положить её.

Курьер уже уехал. Я слышала, как цокают копыта его лошади вниз по улице Медных Весов, к пристани, — и как Нунция на рыбном ряду кричит ему вслед что-то нелестное про императорских, которые носятся по городу, как ошпаренные. Потом копыта стихли.

Мирра. Горькая зелень. И я.

Я поднесла печать к лицу ещё раз. Медленно, тщательно, как подносят ленточку на пробе — не к носу, чуть ниже, чтобы запах сам пришёл, а не ты к нему. Первой — мирра, сладкая, тяжёлая, — смола дома Альбери, которую жгут у трона. За ней — горькая зелень. Не сорванный лист — другое. Старше. Тусклее. Густое, как пыль на закрытых ставнях. Сорванный лист я слышала в Ночь Смол, на Лилиан, под лилией: «горькая зелень, которая не уходит». Тогда это был поводок для одного дракона. Здесь этой зелени было столько, словно ею пропитали весь воск целиком.

А под всем этим — на дне — хлеб. Гроза. Пудра.

Это не был след чужих рук. Не перчатка, которой коснулись запястья. Это было сварено. Это было вложено в воск нарочно, как мастер вкладывает в духи подпись, чтобы каждый, кто понимает, понял.

Я поняла.

Тётя говорила мне в стеклянном зале: «Для поводка — хватит платка. Это — для другого». Я думала тогда, что «другое» — «Аромат года». Лепестки, которые сожгли на углях под миндалём, чтобы весь двор дышал мной. Их сожгли. Но сосуд с моим платком остался — его унесли в ночь ареста императорские гвардейцы, «по слову его величества». И листы маминой тетради — те, где написано, как разбить поводок. И всё, что тётя успела снять с меня за три дня под стеклом и не успела сжечь.

Аромат единства.

Большая курильница на площади у дворца — та, в которой жгут смолу в большие праздники империи, а в первый День Сорро будут жечь в память о павших, — одна на всю империю. В неё бросают смолу все Великие дома сразу. И дым над площадью стоит такой, что его слышно, говорят, до самого залива.

Все лорды. Все драконы империи. Вокруг одной курильницы.

И в ней — я.

— Ирис?

Сабина стояла в дверях задней комнаты, с мокрыми руками, с лавандой на фартуке. За ней — Мелисса, бледная, с глазами на пол-лица. Они слышали курьера. Они слышали, как он спросил меня.

— Ничего, — сказала я. — Письмо из Альберы.

Сабина посмотрела на мои пальцы на бумаге — и не поверила. Но ничего не сказала. Она давно научилась не спрашивать то, на что ей не ответят. Двенадцать лет в цитадели Ларго учат и этому.

* * *

Арман пришёл, когда я сидела в бабушкином кресле у окна и смотрела на бумагу.

Я услышала его со двора. Горячий песок. Кедровый дым. Сухая трава. И сегодня — опилки и смола: стойка для бочек, которую они с плотником ставили всё утро. Он вошёл в лавку через заднюю дверь, отряхивая стружку с рукавов, увидел моё лицо — и остановился.

Не в трёх шагах. Три шага давно кончились. Он подошёл, сел на край прилавка рядом с креслом и протянул руку.

Я отдала ему письмо.

Он прочитал. Я видела, как он читает: дважды, медленно, — как слушал когда-то указ о ведьме на площади Тальмы. Потом поднёс печать к лицу.

И отшатнулся.

Так отшатываются от огня. От змеи. От того, что однажды уже держало тебя за горло. Он сидел на прилавке, держа бумагу на вытянутой руке, и лицо у него было белым.

— Это… — сказал он. И не договорил.

— Да.

— Горькая зелень. — Голос у него сел. — Я её знаю. Не эту — её сестру. Я с ней три месяца жил. Она стояла у меня в голове, как туман над болотом, и я не помнил, куда хожу по ночам. — Он опустил руку. — Её столько, Ирис. Столько, что у меня волосы дыбом.

— А под ней?

Он поднёс печать снова. На этот раз осторожно. Вдохнул. И я увидела, как у него дрогнуло лицо — так, словно его ударили и погладили одной рукой.

— Ты, — сказал он.

— Я.

Он долго молчал. Потом положил письмо на прилавок — печатью вниз, — и накрыл его ладонью, как накрывают огонь, чтобы не разгорелся.

— Он хочет, чтобы ты сама принесла себя к его курильнице, — сказал он. — «По древнему обычаю». Как ты несла смолу Лилиан в Ночь Смол. Тогда — чтобы ты стояла у помоста и смотрела, как меня женят. Теперь — чтобы ты стояла у курильницы и смотрела, как твой запах вяжет всех.

— Да.

— Ты не поедешь.

Он сказал это сразу, не думая, — тем голосом, которым семь лет за меня решали, где жить и что подписывать. И сам услышал. Я видела, как он слышит. Как у него сжимаются челюсти.

Он помолчал. Потом сказал — другим голосом, тише:

— Прости. Я не так хотел. — Он посмотрел на меня. — Ты решишь. Сама. А я… я буду там, где ты решишь. Если в Тальме — в Тальме. Если в Альбере — в Альбере. В трёх шагах, в десяти. Ты знаешь.

— Знаю, — сказала я.

Я взяла его ладонь — ту, которой он накрыл письмо, — и положила себе на колени. Она была тёплой, шершавой, в смоле и опилках.

— Я ещё не решила, — сказала я. — Мне надо подумать.

— Думай.

Мы сидели так, пока в лавку не вошла Лилиан.

* * *

Она держала в руке крошечную бумажку, свёрнутую трубочкой. С голубиной лапы — я видела красную нитку, которой её привязывали.

Письма от Эмиля приходили ей каждую неделю — в Ассунтиных корзинах, толстые, на пять страниц, с книжными закладками. Голубем он не писал никогда. «Голубь — это для войны, — сказал он ей однажды. — А я пишу вам не про войну».

— Голубь, — сказала Лилиан. Голос у неё был ровный, но руки дрожали. — Только что. На подоконник. Сударыня, генерал… он пишет голубем.

Она протянула мне бумажку. Я развернула.

Почерк наследника — мелкий, неровный, как будто он писал стоя, на ходу, прижав бумагу к стене.

«Лилиан. Мастера Мерель увели из подвалов позапрошлой ночью. Гвардия отца. Без суда, без приказа на бумаге. Тюремщику сказали — „для работы“. Куда — не знаю. За мной ходят. Мои письма читают. Не пишите мне через дворец. Пишите через А. Скажите мастерице: пусть будет осторожна. Отец спрашивал о ней. Дважды. Э.»

Я прочитала вслух. Арман слушал, не шевелясь.

«Для работы».

Я вспомнила камеру под дворцом. Койку, кувшин, окно под потолком. Тётю — прямую, без перчаток, с руками, как у мамы. «Ты думаешь, это я придумала? Девочка. Гильдия — только руки».

Руки забрали из подвала. Чтобы работали.

— Он спрашивал о тебе, — сказал Арман. — Дважды.

— Я слышала.

Лилиан стояла посреди лавки, сжав пальцы, и смотрела в окно — на север, туда, где за мысами была Альбера.

— Он один там, — сказала она тихо. — Совсем один. С ним никого нет.

Никто ей не ответил.

Кора вошла из кухни с миской теста под полотенцем — она всегда входила тогда, когда в лавке становилось тихо, словно слышала тишину через стену. Посмотрела на нас троих. На письмо на прилавке, накрытое ладонью сына. На бумажку в моих пальцах.

— Императорское, — сказала она. Не спросила. — Ну?

Я рассказала. Коротко. Кора слушала, прижимая миску к животу, и лицо у неё становилось всё темнее.

— Значит, так, — сказала она, когда я кончила. — Сначала все едят. Потом думают. На голодный желудок только дураки думают и императоры. — Она поставила миску на прилавок, прямо рядом с письмом, и посмотрела на сына. — А Сарран он у нас отнимет. Вот увидишь. Не сегодня, так через месяц. Кто отказывается от права, которое старше дворца, у того дворец забирает всё, до чего дотянется.

— Пусть забирает, — сказал Арман.

— Пусть, — согласилась Кора. — Только Пию я ему не отдам. И кухню. — Она подумала. — И урны.

* * *

Вечером я сидела на крыше одна. Арман хотел подняться — я попросила: «Не сегодня». Он не обиделся. Он теперь умел не обижаться, когда я просила побыть одной. Это далось ему труднее, чем отказ от армии.

Внизу дышал город. Соль. Дёготь. Апельсины, зелёные, горькие. Дым очагов. Где-то пекли хлеб к утру.

Я держала на ладони табличку — мамину, тёмно-рыжую, с отбитым углом, — и грела её второй ладонью. Два дыма. Живой огонь, звериный, горячий. Женская смола — ладанник с мёдом. И между ними соль.

«Глина помнит дракона», — сказал Арман весной.

Я не знала, что ещё она помнит. Мама не успела мне сказать. Бабушка — тоже. «Не продавай. Гильдии не показывай». Двенадцать табличек «из времён до империи» лежали двести лет в нижнем хранилище императорской библиотеки под печатью Гильдии — и пропали этой весной, когда ключ от хранилища был только у одного человека.

У того же, чья печать сейчас лежала на моём прилавке, накрытая ладонью генерала.

Я опустила глаза на запястье. Пепельная лента серела под рукавом — тонкая, выцветшая, почти невесомая. Год и день. Она кончалась на следующий день после Дня Сорро. Тогда её можно будет снять. Тогда он спросит. Он сказал — при всём Зале.

Если будет кому спрашивать.

Я посчитала. Я всегда считаю.

До Дня Сорро — пятьдесят два дня. До конца моей ленты — пятьдесят три.

Глава 2. Две смолы

Бабушкины тетради лежали в сундуке под органом.

Двенадцать. В клеёнчатых переплётах — чёрных, бурых, одна зелёная, выцветшая до цвета болотной воды. Мариса вынесла их из лавки в бельевой корзине в ночь перед обыском, за сутки до пожара, и они пережили огонь у Коры на кухне, под мешками с крахмалом. Я читала их — все, кроме одной, от корки до корки — два раза: когда искала, из чего сварить «Тишину», и когда искала, куда делась мамина тетрадь. Зелёную оба раза пролистала, не читая: детские рецепты мыла, цены на соль. Строк о табличке я в них не искала ни разу.

Мне не приходило в голову, что бабушка могла о ней писать. «Это бабушкино. Ей — от её бабушки. Не продавай. Гильдии не показывай». Мамин почерк на записке. Я думала — это всё.

В ту ночь я не легла. Зажгла лампу в лаборатории, поставила сундук на пол, села рядом на табурет и стала читать с другого конца. С самой старой тетради — зелёной.

Почерк в ней был другой. Не бабушкин — тот, что я помнила, мелкий, злой, с наклоном вправо, — а круглый, детский, старательный. Бабушке было, наверное, пятнадцать, когда она начала её вести. Рецепты мыла. Цены на соль. «Мама велела не ходить на мыс без неё». «Мама сварила „Тишину“ — для соседки, у которой муж с моря пришёл бешеный». Я перечитала эту строчку трижды. «Тишина». Для соседки. Не для себя.

На последней странице зелёной тетради — рисунок.

Неумелый, карандашом: прямоугольник с отбитым углом. Насечки. Кружки. Ряды точек. Я узнала его сразу — так узнают лицо на старом портрете. Моя табличка. Бабушкина. Её бабушки.

Под рисунком — три строки. Тем же круглым почерком.

«Греть в ладонях. Огонь — его. Смола — её. Соль — договор».

И ниже, другими чернилами, — уже взрослой рукой, той, что я помнила, с наклоном вправо:

«Зверь чует — человек выбирает. Так было. Так говорила мама. Мама говорила: остальное — на Дымном мысу. В Первой курильне. Там остальное».

Я сидела на полу лаборатории с тетрадью на коленях, и лампа коптила, и Фитиль за дверью вздыхал во сне.

«Остальное — там, где два дыма».

Мамина записка. Последняя — та, что лежала зимой рядом с последним немым корнем. Я думала тогда, что это про корень — про то, где его брать. Наверное, так и было. Но не только.

Два дыма. Огонь — его. Смола — её.

Я достала табличку из мешочка, положила на ладонь и согрела второй.

Живой огонь — горячий, сухой, звериный. Женская смола — ладанник с мёдом, тёмная, тёплая. И между ними — соль. Не морская. Другая. Старая, чистая, как та, что выступает на камне, по которому сто лет текла вода.

«Свадьбой. Очень старой», — сказала я Нико осенью, когда согрела её в первый раз.

Под утро, уже листая последнюю, двенадцатую тетрадь — начатую в год маминой смерти, — я нашла ещё одну строчку. На полях, рядом с ценой на бергамот, тем же злым мелким почерком:

«Приезжала О. Спрашивала про глину — не осталась ли у С. Сказала ей: продала, давно. Не поверила. Нюхала сундук».

Я долго смотрела на эту строчку. Тётя искала табличку. Четырнадцать лет назад, в год, когда умерла мама. И бабушка солгала ей — бабушка, которая всю жизнь говорила мне: «Люди врут, вещи — нет».

Я сидела и грела глину, пока за окном не посерело.

* * *

Утром я показала тетрадь Нико.

Он прочитал три строчки, шевеля губами, — Нико читал теперь бегло, Элена учила его по вечерам, — и поднял на меня глаза.

— Дымный мыс, — сказал он. — Это же рядом. Полдня пешком. Час на лодке. Там пусто. Там одни камни и чайки. Ансельм говорит, туда даже рыбаки не ходят — гиблое место, ветер.

— Димос когда-то сказал мне, — ответила я, — что слышал про немой корень от одного старика с Дымного мыса. Старик давно умер. А мыс — пустой.

— Пустой, — согласился Нико. — Значит, там никто ничего не взял.

Он сказал это просто. Как всегда. И я подумала, что из всех людей, которых я знаю, только Нико умеет говорить самые важные вещи так, словно спрашивает, что на обед.

Я дала ему табличку. Он согрел её в ладонях — неумело, слишком крепко, — и долго нюхал, закрыв глаза.

— Огонь, — сказал он. — Как генерал, когда злой. Только старше. И смола — как у тебя на полке, ладанник, только с мёдом. А соль… — Он нахмурился. — Соль странная. Как будто плакали.

Я забрала у него табличку.

— Как будто плакали, — повторила я.

— Ну да. — Нико пожал плечами. — Слёзы ведь солёные. Разве нет?

* * *

Арман

Посол императора приплыл на второй день.

Не курьер — посол. На императорском посыльном судне, под белым флагом с драконом над морем, с двумя гвардейцами в белом и с писарем, который нёс за ним ящик с бумагами. Судно встало у главного пирса, и посол сошёл на берег так, как сходят на чужую землю: брезгливо, глядя под ноги.

Лорд Сильвен Ардо, камергер двора. Немолодой, гладкий, с напомаженными седыми висками и в камзоле цвета сливок. От него пахло помадой для волос, крахмалом, миррой дворцовых курильниц и — едва-едва — чужим страхом, который он старательно прятал под всем этим.

Он спросил генерала Валеро в форте.

В форте ему сказали, что генерал Валеро в форте не служит. Сантори, говорят, вышел к нему сам, кланялся, предлагал вина. Посол вина не взял и велел вести его туда, где генерал служит.

Его привели на кухню к моей матери.

Я колол дрова во дворе. Мать месила тесто. Посол стоял в дверях кухни в своём сливочном камзоле, среди мучной пыли, кошек и запаха печёного лука, и смотрел на меня так, словно не верил глазам.

— Генерал, — сказал он наконец.

— Милорд Ардо. — Я воткнул топор в колоду. — Чем обязан?

Мать не обернулась от теста. Но я видел, как замерли её руки.

Посол откашлялся. Писарь за его спиной открыл ящик и подал ему свиток. Посол развернул.

— Его величество Гаэтан Третий, — прочитал он, — в неизменной милости к победителю у мыса Сорро, желает видеть лорда-генерала Валеро на празднике Дня Сорро в годовщину победы. Его величество готов вернуть лорду-генералу командование Южной армией в тот же день, из рук нынешнего командующего, при всём дворе.

Он сделал паузу. Я ждал.

— При одном условии, — сказал посол, уже не читая. — Его величество желает, чтобы генерал привёз с собой мастерицу Ирис Мерель. В знак примирения. Его величество полагает, что мастерица, которой двор обязан спасением наследника, должна занять у Большой курильницы почётное место. — Он свернул свиток. — Подле его величества.

Подле его величества. У курильницы, в которой будет её запах.

Я вытер руки о штаны.

— Передайте его величеству мою благодарность, — сказал я. — И мой ответ: нет.

Посол моргнул.

— Генерал, вы не поняли. Армия…

— Я понял. — Я смотрел на него. — Армия — в обмен на неё. Как поводок — в обмен на ошейник. Нет.

— Вы отказываетесь от командования, которое…

— Я отказался от него весной. Пока цепь у полковника Сантори — я её не возьму. А мастерица Мерель — не вещь, чтобы её привозить. — Я помолчал. — Она поедет, куда сама решит. Если решит. Передайте его величеству и это.

Посол долго смотрел на меня. Потом — на мою мать, которая так и не обернулась. Потом — на топор в колоде.

— Его величество, — сказал он тихо, почти ласково, — не любит отказов, генерал.

— Знаю, — сказал я. — Я уже отказывался. В Зале курильниц. Он слышал.

Посол поклонился — коротко, ровно настолько, насколько требовал этикет, — и ушёл. Гвардейцы ушли за ним. Писарь закрыл ящик и тоже ушёл, оглянувшись на кошек.

Мать опустила руки в тесто.

— Не любит отказов, — сказала она, не оборачиваясь. — А кто их любит, сынок. Я вот тоже не люблю. — Она помолчала. — Иди к ней. Скажи сам. Не жди, пока Нунция расскажет.

Я пошёл.

* * *

Ирис

Он рассказал мне всё — в лаборатории, сидя на перевёрнутом ящике, пока я переписывала бабушкины строчки на чистый лист. Посол. Свиток. Армия «в тот же день, из рук нынешнего командующего». И условие.

«Подле его величества».

Он рассказал сразу. Не дожидаясь, пока я спрошу. Не дожидаясь вечера, утра, удобного случая. Пришёл со двора с опилками в волосах и сказал: «Мне надо тебе сказать». Я слушала его и думала о платке. О трёх месяцах, когда он молчал. О том, как он учился не молчать — и как, кажется, научился.

— Ты отказался, — сказала я.

— Отказался.

— За меня?

Он покачал головой.

— За себя. От армии. А про тебя сказал, что ты поедешь, куда сама решишь. — Он помолчал. — Если решишь.

Я положила перо.

Подле его величества. У Большой курильницы, в которой будет мой запах, — на почётном месте, при всём дворе, при всех лордах. Чтобы видели: мастерица Мерель сама пришла. Сама поднесла смолу. Сама отдала себя Аромату единства. Как в Ночь Смол, когда я сама несла смолу невесте своего бывшего мужа и стояла у помоста, — потому что «по древнему обычаю» и потому что «двор ожидает».

Тогда я пошла.

— Я не поеду в Альберу, — сказала я. — Не так. Не на почётное место.

— Хорошо.

— Но и сидеть в Тальме, считая дни, я не буду. — Я подвинула к нему лист с бабушкиными строчками. — Читай.

Он прочитал. Дважды. Поднял глаза.

— Дымный мыс.

— Первая курильня. «Там остальное». — Я положила рядом табличку. — Тётя сказала: «Гильдия — только руки». Двенадцать табличек «из времён до империи» лежали двести лет под печатью Гильдии. Их только что украл тот, у кого единственный ключ. Значит, в них что-то есть, чего он боится. — Я посмотрела на табличку. — А у меня есть тринадцатая. И бабушка пишет, где остальное.

Арман смотрел на табличку долго.

— Глина помнит дракона, — сказал он.

— И женщину, — сказала я. — Две смолы, Арман. Не одна. Его огонь и её смола. И соль между ними. Нико говорит — как будто плакали. — Я помолчала. — В праве истинной выбирает зверь. А здесь — двое. Я хочу знать, что там написано. Пока у нас есть пятьдесят дней.

— Ты не умеешь их читать.

— Не умею. — Я согрела табличку в ладонях. Два дыма поднялись над глиной — тонко, едва-едва, — и смешались с запахом лампы, бумаги и его кожи. — Но я умею читать духи. А это — духи. Очень старые.

Он долго молчал. Потом встал, подошёл к окну, посмотрел на море — на юг, туда, где за мысом с маяком начинались скалы.

— Ансельм возьмёт лодку, — сказал он. — Лоран пойдёт. Нико — конечно. Фитиль — его не удержишь. — Он обернулся. — И я.

— Ты не спрашиваешь, можно ли тебе?

— Спрашиваю, — сказал он. — Можно?

Я посмотрела на него. На опилки в волосах. На руки в смоле. На лицо — спокойное, упрямое, как у человека, который давно решил и ждёт только, когда решишь ты.

— Можно, — сказала я. — На рассвете. Завтра.

Глава 3. Дымный мыс

Ансельм грёб одной рукой.

Я не понимала, как он это делает, пока не увидела: весло было привязано ремнём к его плечу, к культе под пустым рукавом, и он грёб всем телом — спиной, плечом, ногами, упёртыми в доску, — а здоровой рукой правил. Лодка шла ровно, быстро, как по ниточке. Лоран сидел на втором веслe и честно пытался не отставать.

— Тридцать лет на воде, — сказал Ансельм, не оборачиваясь, когда Лоран в третий раз сбился. — А ты, капитан, — тридцать один год на суше. Не равняйся.

Лоран засмеялся и чуть не упустил весло.

Мы вышли из гавани на рассвете. Тальма осталась за кормой — розовая, сонная, в дыму первых очагов. Потом обогнули маяк на мысу, и город пропал за скалами. Впереди было только море, серое, гладкое, в утренней дымке, и берег — высокий, обрывистый, рыжий, с белыми полосами птичьего помёта на уступах.

Фитиль сидел на носу, как резная фигура, и нюхал ветер. Нико — рядом с ним, с корзиной на коленях: верёвка, фонари, свечи, ленточки, мешки, хлеб, вода. Арман сидел на корме, рядом со мной. Он мог бы долететь за то время, что Ансельм делал десять гребков. Он сидел в лодке.

— Почему не полетел? — спросила я.

— Потому что ты в лодке, — сказал он.

Больше я не спрашивала.

* * *

Дымный мыс я услышала раньше, чем увидела.

Сначала — море. Соль, водоросли, мокрый камень. Потом — птицы: помёт, перья, рыбья чешуя на скалах. А потом, сквозь всё это, когда лодка обогнула последний выступ берега и впереди открылся мыс — длинный, узкий, каменистый, уходящий в море, как палец, — я почувствовала дым.

Старый. Очень старый. Не дым костра — дым, который когда-то был, а теперь стал частью камня. Как запах в доме, где сто лет топили печь, а потом дом бросили, — и печь давно остыла, а стены всё помнят.

— Ты слышишь? — спросила я Армана.

Он кивнул. Лицо у него было странное — напряжённое, словно он прислушивался не носом, а чем-то глубже.

— Зверь слышит, — сказал он тихо. — Ему… — Он запнулся. — Ему здесь спокойно. Я не знаю почему.

Ансельм посадил лодку в маленькую бухту у основания мыса, на гальку. Мы вылезли. Фитиль спрыгнул первым и сразу ушёл вверх по камням, нюхая каждую щель.

Подъём был недолгим, но крутым. Тропа — если это была тропа — вилась между валунами, поросшими жёсткой серой травой. Ветер наверху бил в лицо так, что слезились глаза. Чайки кричали над головой.

А потом камни расступились, и мы увидели Первую курильню.

* * *

Это был круг.

Большой, шагов сорок в поперечнике, выложенный из тёмного камня — грубого, тёсаного, без раствора, огромными плитами, каждая с человеческий рост. Половина плит обвалилась, лежала в траве, заросшая лишайником. Половина стояла. В середине круга — возвышение: каменный очаг, низкий, широкий, с толстым кольцом бортика по краю, почерневший изнутри так, что чернота въелась в камень на палец вглубь.

Курильня. Не бронзовая тренога, не золочёная игрушка для бальной залы. Огромная, грубая, древняя. На ней можно было бы жечь смолу для целого города.

Я подошла к ней и положила ладонь на бортик.

Камень был холодным — ветер, утро. Но под ладонью, в глубине, в самой черноте, жил запах. Я наклонилась и вдохнула.

Дым. Огонь — не древесный, другой. Горячий, сухой, звериный. Я узнала его сразу — так узнают голос, который слышали тысячу раз. Табличка. Огонь — его.

И смола. Ладанник с мёдом. Тёплая, тёмная, женская.

Две смолы. Сто лет — двести — пятьсот, я не знала сколько. Они въелись в камень и не ушли.

— Ирис, — позвал Нико от края круга. Голос у него был странный. — Тут лестница. Вниз.

* * *

Лестница начиналась под одной из упавших плит — узкая, крутая, вырубленная прямо в скале. Ступени стёрты посередине. Лоран зажёг фонарь и пошёл первым. Потом я. Потом Нико. Арман — последним, пригибаясь, потому что свод был ему по плечо. Фитиль остался наверху, у входа, и улёгся там, мордой к лестнице. Ансельм — у лодки.

Двадцать ступеней. Тридцать. Воздух стал неподвижным, сухим, тёплым — тепло шло от самой скалы, словно где-то глубоко под нами ещё тлел огонь. И запах — тот же, что в очаге наверху, только гуще, плотнее, — как запах в закрытой шкатулке, которую открыли впервые за много лет.

Лестница кончилась. Лоран поднял фонарь.

Мы стояли в зале, вырубленном в скале. Невысоком, круглом, как опрокинутый горшок. И стены его, от пола до свода, были в нишах.

Сотни ниш. Маленьких, в ладонь, ровными рядами, как соты в улье. И в каждой — табличка.

Глиняные. Тёмно-рыжие, бурые, почти чёрные. Целые и треснувшие, с отбитыми углами, совсем раскрошившиеся в пыль. В насечках, в кружках, в рядах точек. Сотни.

— Семь ветров, — сказал Лоран шёпотом.

Я стояла посреди зала и не могла дышать.

Книга. Целая книга. Без единого слова.

* * *

Я не умела её читать.

Я поняла это через час. Я брала табличку из ниши — осторожно, двумя руками, как берут птенца, — грела её в ладонях и нюхала. Огонь. Смола. Соль. Пауза — пустота, как вдох между нотами. Снова огонь. Потом что-то новое — горькое, травяное. Потом ничего. Я клала её обратно. Брала следующую. То же самое, только в другом порядке.

Это был язык. Я это слышала — так, как слышишь, что за стеной говорят, но не разбираешь слов. Ноты шли не как в духах — верх, сердце, база, — а одна за другой, по очереди, как слова в строке. Насечки на глине — я догадалась не сразу — были не узором. Они показывали, где греть: здесь — огонь, здесь — смола. Кружки — где пауза. Ряды точек — сколько раз повторить.

Но что значили слова — я не знала.

— Мамина, — сказала я наконец. — Нико. Дай мою.

Он достал из корзины мешочек. Я развернула табличку — тринадцатую, бабушкину, — и согрела её. Огонь. Смола. Соль.

«Огонь — его. Смола — её. Соль — договор».

Три слова. Бабушка дала мне три слова. Как дают ребёнку первые буквы.

Я начала сначала.

Огонь — значит он. Дракон. Смола — она. Женщина. Соль — договор. Я брала табличку за табличкой и искала только эти три ноты, и складывала, что между ними. Нико записывал за мной углём на обрывках бумаги — «огонь, пустота, горькое, огонь», — а я нюхала, грела, нюхала снова.

Горькое травяное — после огня — я встречала часто. Почти всегда рядом с огнём. Как прилагательное рядом с существительным. Горький огонь. Дикий? Я подумала о том, как пахнет зверь, когда злится. Как пах Монтеро над гаванью Ларго.

— Дикий, — сказала я вслух. — Горькое — это дикий. Зверь без человека.

— Почему? — спросил Нико.

— Потому что вот здесь, — я показала на табличку, — горький огонь, потом пустота, потом смола, — и горечь уходит. Огонь становится чистым. Как будто смола… успокаивает.

Арман стоял у стены и смотрел на меня. Он ничего не говорил уже долго.

* * *

К полудню мы нашли её.

Она стояла в самой нижней нише, у пола, над которой кто-то вырезал в камне знак — тот же, что на краю очага наверху: два кольца, вписанные одно в другое. Табличка была больше остальных. Тёмная, почти чёрная от дыма, но целая. Ни трещины.

Я взяла её обеими руками. Она была тёплой — тёплой сама, без моих ладоней, от камня, в котором лежала. Я поднесла её к лицу.

Огонь. Чистый, не горький. Пауза. Смола. Пауза. Огонь — и смола — вместе, одновременно, сплетённые, как два голоса в одной песне. Соль. Длинная, долгая, повторённая трижды — три ряда точек. Потом снова: огонь — пауза — пустота, — словно огонь искал и не находил. Потом смола — пауза — пустота. Потом — огонь и смола вместе. Соль. И в конце — что-то, чего я не слышала ни на одной табличке до этого. Тёплое. Цветочное. Как цветёт что-то на коже.

Я стояла с табличкой у лица и не двигалась.

— Ирис? — Арман шагнул ко мне.

Я начала говорить. Медленно, по нотам, как читают по слогам.

— «Огонь чует», — сказала я. — Зверь чует. — Пауза. — «Смола выбирает». Человек выбирает. — Огонь и смола вместе. Соль, трижды. — «Это договор». — Огонь ищет — пустота. — «Ни огонь не возьмёт смолу без её…» — Я запнулась. Смола — пустота. — «Без её выбора». — Смола ищет — пустота. — «Ни смола не возьмёт огонь без его выбора». — Вместе. Соль. И последнее. Цветочное, тёплое, на коже.

Я перевела дыхание.

— «Метка цветёт на обоих».

* * *

Арман

На обоих.

Я стоял в каменном зале под Дымным мысом, в свете одного фонаря, и смотрел на неё — на женщину с чёрной табличкой в руках, которая только что прочитала мне дым, — и не мог понять, почему у меня так холодно в груди.

Метка цветёт на обоих.

Я опустил глаза. Посмотрел на своё запястье. Левое. Там, где у Ирис под рукавом серела пепельная лента. У Лилиан, у Флоры, у Вероники, у Мелиссы метка цвела на шее, под ухом, — завитком, у каждой «истинной» в империи, когда зверь её выбирал.

У драконов меток не было. Никогда. Ни у одного. Меня учили этому с детства: зверь выбирает — метка цветёт на ней. На ней одной. Это знак, что выбор сделан. Что она — его. Что спорить не о чем.

На моём запястье никогда ничего не было. Кожа, жилы, старый белый шрам от Сорро.

Я смотрел на это запястье и думал о Ночи Смол, когда поводок лопнул, и мой зверь повернул голову к Ирис через весь помост. Кто-нибудь в Зале посмотрел тогда на мою руку? Кто-нибудь когда-нибудь смотрел на руку дракона?

Никто. Потому что меток у драконов нет.

Потому что так написано в праве.

— Метка цвела на обоих, — сказал я. Голос у меня был хриплый, чужой. — Когда выбирали оба.

Ирис подняла на меня глаза.

— Да.

— Значит, она могла цвести и на мне. Если бы ты… — Я не договорил.

— Если бы я выбрала тебя, — сказала она. — Сама. Не нос. Я.

Нико сидел на полу, с углём в руке, с обрывками бумаги на коленях, и смотрел на нас открыв рот. Лоран у лестницы опустил фонарь.

— Мой генерал, — сказал он тихо. — Это ведь… Это ведь значит…

Я знал, что это значит.

Право истинной. Право, по которому мой зверь выбирает, и я гашу брак при всём дворе, и женщина уходит с пепельной лентой на запястье, и никто не спрашивает её. Право, которое старше дворца. Старше трона. Которое, сказал Остен в Зале курильниц, нельзя отменить, как нельзя отменить собственную кровь.

Здесь, в этой скале, в этих сотнях глиняных табличек, сотни лет лежало другое.

Ни дракон не возьмёт женщину без её выбора. Ни женщина — зверя без его выбора. И метка — на обоих.

Кто-то взял этот договор — и переписал. Выбросил из него половину. Её выбор. Её метку. Оставил только зверя. И назвал это правом.

Метка цвела на обоих. Значит, право истинной — ложь, которой много сотен лет.

Глава 4. Огонь над мысом

Фитиль залаял наверху.

Не зарычал — залаял. Громко, хрипло, на весь мыс. Фитиль почти никогда не лаял. За год, что он жил со мной, его лай можно было пересчитать по пальцам: на начальника таможни, на стук Сабины за полночь и на охряного дракона на солончаке.

Лоран поднял голову к лестнице. Арман уже шёл к ней.

— Сиди, — сказал он мне. — Нико, свети.

Он поднялся наверх в три прыжка, пригибаясь под сводом. Я слышала, как стихли его шаги. Как Фитиль замолчал. Как ветер наверху на миг стал громче — дверь в мир открылась и закрылась.

Потом он крикнул сверху:

— Ирис! Наверх! Сейчас!

* * *

С моря шёл корабль.

Я увидела его, выбравшись из-под плиты, щурясь от света после темноты зала, — и сначала не поняла, что вижу. Двухмачтовое судно, белые паруса, белый флаг на корме. Дракон над морем. Посыльное судно посла — то самое, что стояло вчера у главного пирса Тальмы. Оно не ушло в Альберу. Оно ждало.

И над ним, в небе, на высоте двух мачт, — двое.

Белый. Огромный, длинный, сверкающий на солнце, как отполированная кость. И пепельно-серый — тусклый, тяжёлый, с рваной перепонкой на левом крыле. Они шли к мысу низко, над самыми волнами, и ветер от их крыльев гнал по воде белую рябь.

— Брас, — сказал Арман рядом со мной. Голос у него был пустой. — Вико Брас. Командир гвардии. Я с ним у Сорро… — Он не договорил. — И Кассар. Северный.

Я слышала их даже отсюда. Ветер нёс от моря соль, смолу корабля — и драконий дым. Два дыма. Белый — холодный, металлический, как снег на железе. Пепельный — горький, как остывший очаг.

И над обоими, поверх, густо, ровно, — горькая зелень.

Та же, что в воске императорской печати.

— На поводке, — сказала я.

— Оба. — Арман смотрел на них, не мигая. — Ирис. Таблички. Сколько унесёшь — бери. Нико, Лоран — с ней. Вниз, к лодке. Не останавливайтесь.

— А ты?

Он посмотрел на меня. И я увидела у него в глазах то, что видела однажды, давно, — в седле, по дороге в Ларго, когда он сказал: «Это война. Я умею только её».

— А я их задержу, — сказал он.

От корабля отвалила шлюпка. Я видела, как её спускают на воду, как в неё прыгают люди в белом — шестеро, восьмеро, — как блестят на солнце короткие клинки. Шлюпка пошла к бухте, где у самой воды, на гальке, маленький и одинокий, стоял Ансельм возле нашей лодки.

— Ансельм их не удержит, — сказал Лоран.

— Значит, держи ты, — сказал Арман. — Сначала — она. Потом таблички. Потом всё остальное.

Он отступил от меня на три шага — по старой привычке, как отступал всегда, когда собирался обернуться, чтобы не задеть, — и я увидела, как по его шее, по скулам, по рукам побежала охряная чешуя.

* * *

Я не помню, как спустилась обратно.

Помню, что Нико светил, а я хватала таблички из ниш — первые, что попадались под руку, — и совала в корзину, в мешки, за пазуху. Чёрную — первой. Ту, нижнюю, под знаком двух колец. Потом ещё. Ещё. Корзина тяжелела. Лоран стоял на лестнице с клинком и кричал вниз: «Мастерица, хватит! Мастерица!»

Я схватила ещё одну. И ещё.

Наверху ударило.

Не звук — свет. Вспышка, белая, слепая, ударила в проём лестницы, и следом — жар. Камень над головой застонал. С потолка посыпалась пыль. Нико вскрикнул. Пламя дракона прошло над кругом курильни — я поняла это по тому, как в зал хлынул горячий воздух, пахнущий раскалённым камнем, — и ушло.

— Мастерица! — Лоран уже был рядом, тащил меня за руку к лестнице. — Наверх! Сейчас обрушится!

Я поднималась по ступеням с корзиной в обнимку, и ступени дрожали под ногами. Нико — за мной, с двумя мешками. Лоран — последним.

Мы выбрались из-под плиты, и я обернулась.

Над мысом шёл бой.

Охряный дракон висел в небе между нами и морем — огромный, золотой на солнце, с распахнутыми крыльями, — и на него с двух сторон шли белый и пепельный. Я видела, как белый дохнул — струёй белого огня, — и охряный ушёл вниз, крутанувшись, и огонь прошёл над ним, и ударил в камни у края круга.

Камни раскалились докрасна. Одна из стоячих плит треснула, качнулась — и рухнула.

Прямо на вход в лестницу.

Грохот. Пыль. Звон — как будто разбилось что-то большое, глиняное. Плита легла поперёк проёма, плотно, наглухо, и сверху на неё сползли ещё две, поменьше. Там, где только что была лестница, теперь лежала груда раскалённого камня.

Я стояла и смотрела на неё.

Под этими плитами — зал. Сотни ниш. Сотни табличек. Книга без слов, которую я только начала читать.

А над грудой камня поднимался запах.

Огонь дракона раскалил древний очаг — впервые за сотни лет, — и камень, который помнил две смолы, отдал их ветру. Горячий звериный огонь. Ладанник с мёдом. Соль. Они поднялись над мысом густо, тяжело, как поднимается пар из открытого котла, — и ветер понёс их в море, к кораблю, к драконам.

Я видела, как белый дракон в небе вдруг дёрнул головой. Как сбился с крыла. Как пепельный повернул морду к мысу — и замер на один удар сердца, словно услышал своё имя.

Потом горькая зелень взяла своё. И они снова пошли на охряного.

— Мастерица. — Лоран взял меня за плечи и развернул. — Лодка.

* * *

Фитиль бежал впереди, вниз по камням, к бухте. Я — за ним, с корзиной. Нико — с мешками. Лоран — сзади, с клинком, оглядываясь.

На полпути, у большого валуна, где тропа поворачивала к морю, я поскользнулась — и упала на колени, прижимая корзину к груди. Таблички стукнулись друг о друга. Ни одна не треснула.

Перед моим лицом, в щели между камнями, росла трава.

Серая, жёсткая, с тонкими корешками, вцепившимися в скалу. Я видела её наверху, когда поднимались, — она росла здесь везде. Я не обратила на неё внимания.

Теперь моё лицо было в ладони от неё. И я не слышала её.

Совсем. Никак. Трава, которая ничем не пахла. Ни зеленью, ни землёй, ни солью, — ничем. Пустое место в воздухе. Как человек без запаха. Как «Тишина» на коже.

«Немой корень — у С. Где брала — не сказала».

Я выпустила корзину одной рукой, вцепилась в серую траву у самого корня и рванула. Она подалась вместе с землёй, с тонкими белыми корешками, с камешками. Я сунула её в передник.

— Мастерица!

Я поднялась. Побежала.

Шлюпка гвардейцев ткнулась в гальку на другом краю бухты, шагах в сорока от нас. Люди в белом посыпались из неё на берег.

Лоран не остановился. Он пробежал мимо меня, мимо лодки — прямо к ним, по гальке, с клинком в руке, — и я услышала, как он смеётся. Он всегда смеялся, когда дрался. Арман говорил: это у него от страха, но страх у Лорана был такой весёлый, что его боялись все.

Первого он сбил с ног, не останавливаясь. Второго — ударом рукояти в лицо. Третий замахнулся на него — и Ансельм, бросив борт лодки, шагнул навстречу и ударил его веслом. Одной рукой. С размаху, как бьют тяжёлую рыбу о камень.

— В лодку! — заорал Лоран через плечо. — Мастерица, в лодку!

В бухте Ансельм уже снова стоял по колено в воде и держал лодку за борт. Фитиль прыгнул в неё первым. Я — за ним. Корзина. Нико с мешками. Лоран оттолкнулся от берега и перевалился через борт последним.

С корабля, который стоял теперь у входа в бухту, бортом к нам, щёлкнуло.

Болт самострела ударил в воду рядом с веслом. Второй — в борт, у моей руки. Ансельм налёг на весло, рыча сквозь зубы, и лодка пошла.

— Ниже! — крикнул Лоран. — Всем ниже!

Я легла на дно лодки, на корзину с табличками, и пересчитала их на ощупь, не глядя, — пальцами, сквозь прутья корзины и мешковину Никовых мешков. Семь. Семь табличек. Из сотен.

Серая трава в переднике колола мне живот.

Я подняла голову только раз — чтобы посмотреть на небо.

* * *

Арман

Брас бил, как бил всегда, — сверху, с солнца, прямо, без хитрости. Я помнил это. У Сорро он так же шёл на тессийские корабли, и я прикрывал его снизу, потому что он никогда не смотрел вниз.

Он и сейчас не смотрел.

Я ушёл под него — под брюхо, под самые когти, — и ударил хвостом снизу, по крылу. Он взревел, качнулся. Не от боли — от неожиданности. Белое крыло дрогнуло, и он ушёл в сторону, теряя высоту.

И я увидел его глаза.

Пустые. Белые, светлые, всегда весёлые глаза Вико Браса, который у Сорро пил со мной из одной фляжки воду и смеялся, что тессийцы стреляют, как пьяные рыбаки, — сейчас смотрели на меня и не видели. Как смотрят глаза статуи. Как смотрели, наверное, мои, когда я гасил свой брак в Зале курильниц.

Горькая зелень. Я слышал её на нём — густую, тяжёлую, как болотная вода.

Кассар шёл слева.

Мы не дружили с ним никогда. Он был с севера, сосед Остена, молчаливый, тяжёлый, неулыбчивый, — из тех лордов, что приезжают на совет, садятся в угол и уезжают, не сказав ни слова. Но у Сорро, когда тессийский огонь поджёг флагман Гвидо, Кассар три часа держал над ним небо, пока с флагмана снимали раненых. Я видел это. Мы все видели.

Медленнее, тяжелее, — он всегда был тяжёлым, северный лорд, пепельный, как зола. Рваное крыло — у него оно было рваным с тех пор, как я его знал. Он не бил огнём. Он шёл на

меня грудью, чтобы оттеснить от мыса, — к морю, к кораблю, — а Брас тем временем заходил снова.

Внизу, на мысу, я видел их. Маленькие фигурки на камнях. Серая — Фитиль. Тёмная, с корзиной — она. Бегут к бухте.

Я не мог дать Брасу дохнуть туда ещё раз.

Я рванулся вверх, к солнцу, — туда, где он не ждал, — и сверху ударил его в спину. Когтями, всем весом. Мы сцепились и пошли вниз вместе, кувыркаясь, — белое и охряное, — и я слышал, как у меня под когтями трещит его чешуя, как он ревёт, как бьёт крыльями, пытаясь стряхнуть.

Чешуя. Белые чешуйки сыпались с него вниз, как снег, — в море, на камни.

Я отпустил его над самой водой. Он ушёл в сторону, низко, тяжело. Кассар развернулся ко мне.

И тогда я увидел лодку. Ирис я услышал раньше — хлеб, гроза, пудра, — тонко, сквозь дым, сквозь соль, сквозь горькую зелень Браса. Она была внизу, у самой воды.

Она выходила из бухты — маленькая, тёмная, низко сидящая. Ансельм на вёслах. Лоран на корме. Фитиль на носу. Она лежала на дне. На корзине.

А у входа в бухту, бортом к ним, стоял корабль посла. И с его палубы, с борта, щёлкали самострелы.

Я развернулся к кораблю — и Кассар ударил меня в бок.

Боль. Горячая, тупая, под рёбрами, там, где когда-то прошли когти Гвидо. Я ушёл вниз, к воде, теряя высоту, и мир перевернулся — небо, море, небо, — и я выровнялся над самыми волнами, у самой лодки, так низко, что концом крыла задел воду.

Сверху снова заходил Брас. Белый, на солнце. Прямо на лодку.

Сзади, на мысу, дымились раскалённые плиты, под которыми лежала её книга. Вход завален. Главное осталось внутри.

Лодка уходила под огнём. А я был один в небе против двоих.

Глава 5. Гаэтан

Гаэтан

Каждый вечер, в одиннадцатом часу, ему приносили горькую воду.

Серебряная чарка на серебряном подносе, накрытая кружевной салфеткой. Слуга ставил её на край стола, кланялся и уходил, не поднимая глаз. Гаэтан ждал, пока закроется дверь. Потом снимал салфетку, поднимал чарку и пил — одним глотком, не нюхая, потому что нюхать было незачем. Он знал этот запах тридцать лет. Горькая зелень. Тусклая, тяжёлая, как пыль на закрытых ставнях.

Зверь внутри него вздыхал и ложился. Как ложится старый пёс у холодного очага.

Сегодня он выпил её раньше. Чарка стояла пустой на краю стола, а за столом, напротив него, в кресле, в которое её посадили гвардейцы, сидела женщина, которая эту воду варила.

Запястья у неё были связаны. Шёлковым шнуром — мягким, серым, в тон её платью, — так, чтобы не осталось следов. Гаэтан сам велел шёлк. Ему не нравилось, когда на руках мастеров остаются следы: руки мастера — это его инструмент. Его — значит, императора.

— Сними, — сказал он гвардейцу.

Гвардеец развязал шнур и вышел. Дверь закрылась.

Ориана Мерель потёрла запястья — без спешки, одно, потом другое, — и посмотрела на него.

Она постарела за эти месяцы в подвале. Морщин у глаз стало больше. Серебряные волосы, которые она всегда носила гладко назад, были собраны кое-как. Перчаток не было. Но спина — та же. Прямая, как трость. И глаза — те же. Серые, холодные, умные.

— Ваше величество, — сказала она. Голос был мягкий, ровный. Как всегда.

— Мастер Мерель.

Он не встал. Ему было шестьдесят восемь лет, и он давно перестал вставать перед кем бы то ни было.

* * *

Кабинет был маленький, тёмный, с картами империи на стенах и с холодной курильницей в углу — бронзовой, старой, с драконом над морем на крышке. В ней не жгли смолу двадцать лет. Гаэтан не любил дым в кабинете. Дым будил зверя.

— Через сорок девять дней — День Сорро, — сказал он. — Ты знаешь, что будет в Большой курильнице.

— Аромат единства.

— Аромат единства. — Он положил ладони на стол. Сухие, старые, с перстнем на правой. — Сосуд у меня. Платок. Лепестки, которые твои ученицы не успели сжечь под миндалём, — у меня. Листы твоей сестры — у меня. Двенадцать табличек из нижнего хранилища — у меня. — Он помолчал. — У меня есть всё, кроме рук. Твоих.

— И чего вы хотите от моих рук, ваше величество?

— Того, что ты обещала мне тридцать лет назад. — Он смотрел на неё не мигая. — Поводок, который не рвётся. На всех. Сразу. Двадцать два Великих дома. Все лорды империи — вокруг одной курильницы, в один день, в один вдох. И все — на одной привязи.

— На вашей.

— На моей.

Ориана долго молчала. Потом чуть улыбнулась — так, как улыбалась всегда, красиво и редко.

— Тогда мне нужна свобода, — сказала она. — И Гильдия. Башня — моя, как была. Совет Башни — мой. Наследник — подальше от моих мастеров. — Она помолчала. — И ещё — чтобы никто больше не связывал мне руки. Даже шёлком.

— Ты торгуешься.

— Я мастер, ваше величество. Мастера не работают даром. Даже на трон.

Гаэтан смотрел на неё. Он не рассердился. Он давно не сердился — на это нужен был зверь, а зверь спал.

— Ты будешь работать, — сказал он, — потому что тебе больше некуда. Твоя Башня опечатана. Твоих мастеров разогнал мой сын. Твоё имя прочитали вслух перед всем двором — смотрительница с Мирта, беглая, с книгой в руках. Если я завтра отдам тебя под суд, тебя казнят. Если не отдам — ты будешь жить. Здесь. Под моей рукой. — Он помолчал. — Свободу получишь после Дня Сорро. Если поводок замкнётся.

— А если не замкнётся?

— Тогда и говорить будет не о чем.

* * *

Она смотрела на него долго. Потом сказала — тихо, почти ласково:

— Вы ведь не ради мира это делаете, ваше величество.

Он не ответил.

— Вы говорите: «двадцать драконов без поводка — двадцать пожаров». Вы говорили мне это тридцать лет. Я помню. — Она помолчала. — Но вы не ради мира. Вы ради того, чтобы больше никто не сказал вам «нет».

Гаэтан смотрел на неё. Зверь внутри него — сытый, сонный, напоённый горькой водой, — вдруг шевельнулся. Как шевелится во сне собака, когда слышит знакомое имя.

— Ты не знаешь, — сказал он, — что такое двадцать пожаров. Ты не видела войны домов. Я видел. Мне было девять. Мой отец не держал своих лордов — и лорды сожгли Кессу. Два дракона, Ориана. Двое. Не поделили одну женщину. Их звери выбрали одну и ту же, и город горел шесть дней. — Он помолчал. — Двадцать драконов без поводка — это не красивые слова. Это то, что я видел.

— Я знаю, — сказала она. — Я верю, что вы видели. — Она чуть наклонила голову. — А ещё вы видели её. Тридцать три года назад. На весеннем балу.

Тишина.

В кабинете было так тихо, что он слышал, как в пустой чарке на краю стола оседает последняя горькая капля.

Он видел её.

Двадцать один год. Белое платье, открытые плечи, тёмные волосы. Она стояла у колонны рядом с сестрой — с этой самой женщиной, которая сидела сейчас напротив, тогда двадцатитрёхлетней, в таком же белом, — и смеялась чему-то. А он, тридцатипятилетний наследник, вошёл в зал, и его зверь поднял голову.

Апельсиновый цвет. И соль.

Не так, как пахнут апельсины в саду. Так, как пахнет апельсиновый цвет у самого моря, когда ветер приносит соль и смешивает их. Он никогда не слышал ничего подобного. Он не знал, что так бывает. Его зверь повернул голову — через весь зал, через сорок драконов и двести гостей, — и мир встал на место.

Он подошёл к ней. При всех. И сказал.

А она посмотрела на него — спокойно, без страха, серыми, как у сестры, глазами, — и сказала: «Простите, ваше высочество. Я не выбираю вас».

При всех.

Тридцать три года. Его женили через год — по договору, на дочери южного дома, тихой, бледной, которая пахла для него ничем и умерла, когда сыну было три. Он прожил с ней пятнадцать лет и ни разу не услышал её. А зверь всё это время тянулся — через годы, через города, через свадьбу и похороны — к женщине, которая сказала «нет». Пока Ориана Мерель не принесла ему в первый раз серебряную чарку с горькой водой.

— Вы её до сих пор слышите, — сказала Ориана.

— Она умерла четырнадцать лет назад.

— Её дочь — нет.

Гаэтан поднял глаза.

— Девочка пахнет хлебом, — сказала Ориана. — И грозой. Ирисовым корнем. Это её отец — корабельный плотник, стружка и море. Но на самом дне, под всем, — апельсиновый цвет. Немного. Совсем чуть-чуть. Как у Селесты. — Она помолчала. — Вы ведь поэтому дважды спрашивали о ней сына?

Зверь внутри него поднял голову.

Гаэтан не позволил. Он положил ладони на стол — сухие, старые, — и держал их так, пока зверь не лёг обратно.

— Она придёт к курильнице в День Сорро, — сказал он ровно. — Сама. Или её привезут. Голубь от Ардо прилетел час назад. Сегодня Брас сжёг Дымный мыс — то, что там ещё оставалось от этой глины. Валеро отказался от армии. Опять. — Он помолчал. — Значит, Валеро станет изменником.

Он позвонил в колокольчик. Вошёл гвардеец.

— Мастера Мерель — в её новые комнаты, — сказал Гаэтан. — Без шнура. Двери — на ключ. Всё, что она попросит для работы, — дать.

Ориана поднялась. У двери обернулась.

— Ваше величество, — сказала она. — Сестра сказала вам «нет» тридцать три года назад. А её дочь не скажет вам вообще ничего. Она просто не придёт. Вы её не знаете.

Дверь закрылась.

Гаэтан долго сидел в темноте, глядя на холодную курильницу в углу. Потом позвонил ещё раз и велел принести вторую чарку.

* * *

Ирис

Он вернулся на закате — того же дня, что и мы, — когда я уже перестала смотреть на небо.

Лодка вошла в гавань Тальмы далеко за полдень. Ансельм грёб, не останавливаясь, — тяжёлая лодка, одна рука, почти два часа, — весь в поту, и не позволял Лорану сменить себя. Корабль посла за нами не пошёл. Он постоял у входа в бухту, пока драконы кружили над мысом, а потом с его палубы протрубили рог — три коротких, один долгий, — и оба дракона, белый и пепельный, ушли к нему. Сели на воду у бортов. Корабль поднял паруса и повернул на север.

Охряный дракон остался над мысом один. Я видела его, пока мыс не скрылся за маяком. Он кружил над дымящимися камнями — медленно, тяжело, низко, — и не летел за нами.

Потом я перестала его видеть.

Лоран сказал: «Мой генерал прилетит». Ансельм сказал: «Прилетит». Нико ничего не сказал — сидел на дне лодки, обняв Фитиля, и смотрел назад. Я лежала на корзине с семью табличками и считала гребки.

На закате над солончаками за городом опустилась тень. Тяжело, криво, на одно крыло. Я бежала туда через дамбу босиком, с подоткнутой юбкой, и Кора бежала за мной, ругаясь, а за ней — Лоран.

Он лежал на солончаке человеком. На спине, раскинув руки, в разорванной рубахе. На боку, под рёбрами, — тёмное пятно, и соль вокруг пятна была розовой.

— Ушли, — сказал он, когда я упала рядом с ним на колени. — Их отозвали. С корабля. Я… — Он попытался подняться и не смог. — Я искал. Под камнями. Ход. Хоть щель. Там ничего. Плиты лежат. Я не мог поднять. Один — не мог.

— Молчи.

— Таблички…

— Семь, — сказала я. — Семь, Арман. У нас семь. Молчи.

Кора отодвинула меня, опустилась рядом с сыном на соль, посмотрела на рану — и сказала то самое, очень тихое и очень нехорошее, что сказала когда-то в Альбере, увидев красную печать на белой бумаге.

* * *

Таблички я читала три дня.

Арман лежал в комнате под крышей Кориного дома, перевязанный, злой, и требовал, чтобы ему дали встать. Кора не давала. Лоран сидел у его двери, как Фитиль, и ел апельсины. Лекарь из форта — старый, который лечил гарнизон ещё при Армане, — пришёл тайком, без ведома Сантори, зашил рану, сказал «повезло» и ушёл, не взяв денег.

А я сидела в лаборатории с Нико и грела глину.

Семь табличек. Чёрная — договор. Остальные — бурые, рыжие, одна почти серая, с трещиной через всё поле. Мы читали их по нотам, как читают по слогам. Нико грел — у него руки были горячее моих, — я нюхала и говорила, он записывал. Потом мы менялись.

Вторая табличка была о хранительницах.

Смола — много раз, по-разному: с мёдом, с солью, с воском. Женщины. Много женщин. «Смола у огня» — те, кто стоит у курильни. Горький огонь — дикий зверь. Смола — и горечь уходит. «Смола успокаивает огонь». Женщины с Дымного мыса умели успокаивать диких зверей — ароматом. Их звали — я не сразу поняла, как прочитать эту ноту, долгую, тёплую, похожую на дым над очагом, — хранительницами. Хранительницами дыма.

Третья — о том, что было потом.

Огонь — пауза — смола. Огонь — пауза — смола. Потом огонь — без паузы, сразу — смола, и смола — пустота. Как будто её взяли, не спросив. Потом — новая нота, которой я ещё не встречала в глине: тяжёлая, сладкая, густая.

Мирра.

Смола дома Альбери. Её жгут у трона.

— «Огонь трона взял смолу без выбора», — прочитала я. — «И назвал это законом».

Нико перестал писать.

Четвёртая, пятая, шестая — обломки. Половина нот стёрлась, выкрошилась вместе с глиной. Но и в обломках было то же: мирра — и смола без выбора. Мирра — и хранительницы, которых поставили у курильницы, но уже не для того, чтобы успокаивать зверя. Чтобы держать его. «Сторожа». Хранительниц сделали сторожами.

Так родилась Гильдия. Из женщин, которые умели успокаивать огонь, — тех, кто научился его держать.

Седьмая табличка обрывалась на середине. Я отложила её — на потом.

* * *

На третий вечер я заметила подпись.

Я не искала её. Я просто устала. Сидела над чёрной табличкой, договором, и грела её уже без всякой цели — просто потому, что она была тёплой и пахла двумя смолами, а мне было холодно и страшно. И в конце, после «метки на обоих», после цветочной ноты, — была ещё одна.

Совсем короткая. Едва-едва. Как росчерк в конце письма.

Я поднесла табличку ближе. Вдохнула.

Пудра. Сухая, тёплая, фиалковая. Как пахнет корень ириса, который годами сушат на чердаке, пока он не станет пахнуть фиалкой.

Я взяла вторую табличку. В конце — то же. Третью. То же. Все семь — даже обломки, даже та, серая, с трещиной, — в самом конце, после последней ноты, несли один и тот же короткий росчерк.

Подпись. Подпись хранительниц.

Нико смотрел на меня.

— Что? — спросил он. — Что там?

Я не ответила. Я сидела, держа в ладонях чёрную табличку, и вспоминала.

Стеклянный зал на вершине Янтарной башни. Рамы с белыми лепестками миндаля. Три дня под стеклом. И как в первый же день, лёжа на кушетке, я впервые в жизни услышала собственный запах — снятый с меня на лепестки.

Хлеб. Гроза.

И пудра ирисового корня. Сухая, тёплая, фиалковая.

Та же нота. Та же самая. Не похожая — та же.

— Нико, — сказала я. Голос у меня дрогнул. — Понюхай меня.

Он не понял. Потом понял. Наклонился к моему запястью — к правому, без ленты, — и долго дышал. Потом поднёс к лицу чёрную табличку. Потом снова — к моему запястью.

Он поднял на меня глаза. Огромные, испуганные.

— Это ты, — сказал он шёпотом. — В конце. Это ты подписалась.

Не я. Те, кто подписывал договор за сотни лет до меня. Хранительницы дыма с Дымного мыса.

Бабушка — Аделина Мерель. Её бабушка, от которой табличка. Мама. Я.

Мерель — их кровь.

Глава 6. Изменник

Указ читал Сантори.

Сам. На площади у ратуши, с того же балкона, под которым этой зимой глашатай Башни вызывал меня на испытание носа, а потом читали указ о ведьме. Полковник Марко Сантори, комендант форта Тальмы, командующий Южной армией «до разбирательства», стоял на балконе в парадном мундире, с цепью командующего на груди — с той самой цепью, которую Арман снял с себя на этой же площади, — и читал с листа, не поднимая глаз.

Голос у него был громкий. Руки — нет. Я видела с площади, как дрожит у него в пальцах бумага.

— «Именем его величества Гаэтана Третьего! Лорд Арман Валеро, бывший лорд-генерал Южной армии, объявляется изменником короне. За публичный отказ от права истинной в Зале курильниц, что есть посягательство на основной закон империи, право древнее трона. За неповиновение воле его величества, переданной через камергера двора. За укрывательство лиц, коих двор признаёт опасными. Удел Сарран со всеми землями, виноградниками, замком и людьми переходит в казну. Лорду Валеро надлежит явиться в Альберу на суд Совета Великих домов. Всякий, кто даст ему кров, хлеб или помощь, будет судим как соучастник».

Площадь молчала.

Я стояла внизу, в толпе, между Корой и Нунцией. Арман стоял рядом со мной. Перевязанный под рубахой, бледный, с запавшими глазами, но на ногах. Кора пыталась удержать его дома — он сказал: «Мне читают указ. Я его выслушаю стоя», — и пришёл.

Сантори дочитал. Опустил бумагу. Посмотрел вниз, на площадь. Нашёл Армана в толпе. И у него дёрнулось лицо.

— Именем его величества, — сказал он хрипло. — Взять под стражу изменника Валеро.

Никто не двинулся.

* * *

Солдаты гарнизона стояли под балконом — двадцать человек, в серо-зелёных мундирах Южной армии, с короткими пиками. Они стояли и смотрели на Армана. Один, второй, третий. Седой сержант с перебитым носом, которого я помнила по форту — он вытягивался перед генералом у ворот. Молодой парень с веснушками, который весной на пристани сказал Арману «Мой генерал» и покраснел.

Никто не двинулся.

— Сержант Бруно! — крикнул Сантори с балкона. — Исполнять!

Седой сержант посмотрел вверх, на балкон. Потом — на Армана. Потом медленно, очень аккуратно, положил пику на мостовую. Древком к ратуше.

— Не могу, полковник, — сказал он. — Он меня у Сорро из воды вытащил. За шиворот. С огнём над головой. — Он выпрямился. — Не могу.

Рядом с его пикой легла вторая. Третья. Веснушчатый парень положил свою, покраснев до ушей. Потом — ещё и ещё. Двадцать пик на мостовой, древками к ратуше.

А потом из толпы вышел Ансельм.

В выцветшем синем мундире портовой стражи, с пустым рукавом на булавке. Он встал перед солдатами — перед пиками на мостовой — и повернулся лицом к балкону. За ним вышли ещё двое — ветераны, я знала их по рыбному ряду: один сухорукий, другой хромой. Потом ещё. Потом рыбаки. Потом Нунция, растолкав всех, встала рядом с Ансельмом, уперев руки в бока.

— Ну? — крикнула она на балкон. — Бери, полковник! Вот он стоит! Бери, если руки длинные!

Сантори смотрел вниз. На пики. На ветеранов. На Нунцию. На всю площадь, которая стояла и молчала, — и на Армана посреди неё.

Потом развернулся и ушёл с балкона.

Ночью, сказали нам утром, он уплыл. На посыльном судне гарнизона — с цепью командующего на груди и с двумя сундуками. В Альберу.

А на рассвете к Кориному дому пришёл сержант Бруно. Встал у двери, в мундире, с ключами от форта в руке.

— Форт ваш, мой генерал, — сказал он.

— Форт не мой, — сказал Арман. — Форт — Тальмы. — Он помолчал. — Но я его возьму. На время.

Я стояла в дверях за его спиной и думала о Сантори. О человеке, который пять лет докладывал Гильдии — а в последнюю осень и о том, распечатывает ли генерал письма, — и ни разу не поднял на генерала глаз. Теперь он плыл на север, в Альберу, с чужой цепью на груди, — и я знала, что его там ждёт. Ничего. Руки, которые больше не нужны, кладут на полку. Как пустые флаконы.

* * *

Арман

Письма пошли на другой день после указа.

Голуби, лодки, посыльные. Лорды Великих домов отвечали на мои письма — на те, что я разослал из Тальмы после посла, — и на указ. Я читал их в форте, в карт-комнате под крышей, где когда-то не распечатывал письма Лилиан. Теперь я распечатывал все.

Гвидо: «Флот мой. Палуба моя. Указ на неё не влезет — я проверял. Если понадоблюсь — зови. Если не позовёшь — приду сам. Сабине поклон. Г.»

Дорсан — коротко, тяжело, с ошибками: «Я с тобой. Элена говорит — правильно. Т. Д.»

Ренье: «Валеро. Прости. У меня жена и дочь. Их не трогали — и, может быть, не тронут, если я буду сидеть тихо. Я буду сидеть тихо. Прости. Ренье». Я перечитал это письмо дважды. Потом положил его в ящик. Я не мог его винить. Я сам семь лет сидел тихо.

Остен ответил не мне — Совету. Его письмо зачитали в Альбере и прислали мне копию, — видимо, чтобы я знал. «Дом Остен — с троном. Право истинной — основа порядка. Отказ от него — бунт против самой крови. Валеро должен быть судим».

От Остена пахло сорванным листом даже на копии.

А потом пришло письмо от Мартена Лаваля.

Я узнал почерк раньше, чем развернул. Мартен — лорд Лаваль, из западных домов, на три года старше меня. У Сорро он командовал правым крылом. В последнюю ночь перед битвой мы сидели с ним на скале у моря, и он рассказывал мне про свою дочь — ей тогда было четыре года, и она звала «папой» всех подряд, даже лошадей. Мы смеялись. А утром он прикрыл мне спину, когда тессийский огонь пошёл на мой фланг, и сжёг себе крыло до кости.

«Арман. Ты мне был братом у Сорро. Ты им остаёшься. Но у меня Агнесса, ей теперь пять, и жена, и земля, и сто человек, которые живут на этой земле. Если я встану рядом с тобой — у меня отнимут всё, как у тебя отнимают Сарран. Я не могу. Я выбираю трон. Не потому, что он прав. Потому, что он сильнее. Прости. Если когда-нибудь встретимся в небе — я не буду целиться в голову. Обещаю. М.»

Я сидел в карт-комнате с этим письмом в руках, и за окном садилось солнце, и в гавани кричали чайки.

«Я не буду целиться в голову».

Мартен. Который сжёг себе крыло, чтобы прикрыть мне спину. Теперь он выбирал трон — и обещал не целиться в голову. И я понимал его. Вот что было хуже всего. Я понимал каждое слово.

Я не стал отвечать. Я положил письмо в ящик, рядом с письмом Ренье. Потом достал оба и положил на стол — сверху, чтобы видеть.

Пусть лежат. Пусть я помню, что каждый из них выбрал, — и почему.

* * *

Ирис

Письмо из Саррана пришло ещё через день — с телегой, которая везла в Тальму вино из Ферры.

Его писала не Пия: Пия не умела писать. Его писал деревенский писарь из долины, под её диктовку, — я поняла это сразу, по тому, как фразы обрывались посередине, будто Пия замолкала и думала, а писарь ждал.

«Молодому лорду и госпоже Камилле от Пии, кланяюсь. Приходили люди с бумагой. Много. Всё переписали. Сказали — скоро замок в казну, виноградники в казну, всё в казну. Я сказала — берите. Только кухню не отдам. Они смеялись. Потом один хотел снять с полки урны, сказал — это тоже в казну, раз в замке. Я сказала — это не замок, это пепел. И не дала. Урны теперь в подвале, где бочки, за третьей от стены, под мешковиной. Никто не найдёт. Кошка жива — мать котёнка, что Нико увёз. Пия».

Кора дочитала письмо вслух, на кухне, и долго молчала.

— Это не замок, это пепел, — повторила она наконец. — Вот же старая. Вот же… — Она отвернулась к плите. — Двенадцать лет одна ждала. Теперь опять.

— Мы её заберём, — сказала я.

— Заберём, — сказала Кора. — Когда будет куда.

Лилиан не пришла к ужину.

Я нашла её на крыше — на том плоском куске у трубы, где по вечерам сидели мы с Арманом. Она сидела, обхватив колени, и смотрела на север. В руке у неё была бумажка — с голубиной лапы, с красной ниткой.

— Он под стражей, — сказала она, не оборачиваясь. — Дома. В своих покоях. Отец приставил к нему гвардию — «для его безопасности». Его не выпускают даже в библиотеку. — Она протянула мне бумажку. — Это последнее, что он успел.

Почерк — ещё мельче, ещё торопливее.

«Л. Я под ключом. Отец говорит — ради моей же пользы. Он хочет, чтобы в День Сорро я стоял у курильницы рядом с ним. Первым из лордов. Я не знаю, смогу ли отказаться. Не пишите больше — эти письма тоже прочтут. Берегите себя. И её. Э.»

«Первым из лордов».

Я поняла раньше, чем дочитала. Наследник — у курильницы. Рядом с отцом. Первым. Когда задымится Аромат единства — первый вдох будет его.

— Он один, — сказала Лилиан. Голос у неё дрогнул. — Сударыня. Он совсем один там. С гвардией за дверью и с отцом, который… — Она не договорила.

Я села рядом с ней. Обняла за плечи. Она не плакала — она смотрела на север сухими, огромными глазами, и я вдруг поняла, что она думает. Что-то решает. Так же, как я сидела когда-то на стене в Сарране и решала.

— Лилиан, — сказала я.

— Я знаю, — сказала она. — Я ничего не сделаю. Пока.

«Пока».

Я не стала спорить. Я помнила, как это — когда тебе говорят «не надо», а ты уже знаешь, что надо.

* * *

Голубь от Матео прилетел на закате седьмого дня.

Арман развернул записку в карт-комнате форта, при мне, — и я видела, как меняется у него лицо. Он не стал читать про себя. Он прочитал вслух.

«Милорд. Флот вышел из Альберы сегодня на рассвете. Двенадцать кораблей. Гвардия — на шести. С ними драконы. Брас. Кассар. Лаваль. Ещё двое с севера — не знаю имён. Все пятеро пахнут одинаково, говорят люди на пристани, — горько, как полынь. Идут на юг. Вдоль берега. К вам. Ваш Матео».

Он опустил записку.

За окном карт-комнаты темнело море. Гавань Тальмы — рыбацкие лодки, два торговых судна, «Буревестник» Гвидо, пришедший вчера с почтой. Форт на холме. Город на берегу. Улица Медных Весов. Лавка. Задняя комната, где Сабина и Мелисса разливают по склянкам лаванду с мёдом.

— Пять дней морем, — сказал Арман. — Меньше, если ветер. Драконы — за ночь.

— Они не полетят за ночь, — сказала я. — Они пойдут с флотом. Им нужен не ты. Им нужна Тальма. Чтобы ты пришёл сам.

Он посмотрел на меня.

— Двенадцать кораблей, — сказал он тихо. — И пять драконов на поводке. Против одного форта, одного адмирала и одного меня.

Он не сказал «проиграем». Он никогда не говорил этого слова.

Но я услышала.

Глава 7. Седьмая табличка

Седьмую табличку я оставила напоследок, потому что боялась её.

Она была серой — не от дыма, а от старости, как бывает серым камень, который сто лет мыл дождь. Трещина шла через всё поле наискось, от верхнего угла до нижнего, и глина по краям трещины крошилась, если тронуть. Я не трогала. Я держала её на ладони, на чистом льне, и грела второй ладонью сверху — так осторожно, словно грела в руках что-то живое.

Нико сидел напротив, с углём и бумагой. Фитиль — под столом. За окном лаборатории шумела улица Медных Весов: город готовился к осаде, и это было слышно.

— Читай, — сказал Нико.

Я поднесла табличку к лицу.

* * *

Первые ноты я знала.

Мирра — тяжёлая, сладкая. Огонь — и сразу смола, без паузы, и смола — пустота. «Огонь трона взял смолу без выбора». Это было на третьей табличке. Здесь — снова, как напоминание. Как в начале главы повторяют то, что было в прошлой.

Потом — новое.

Пауза. Долгая — три ряда кружков. Потом огонь — горький, дикий, — и под ним, совсем тихо, тонко, — смола. Не пустота. Смола. Она возвращалась.

— «Когда огонь взят без выбора», — прочитала я медленно, по нотам, — «верни выбор».

Нико записал.

Дальше шли ноты, которые я знала по отдельности, но никогда — вместе.

Огонь — чистый, не горький, и после него нота, которую я сначала не поняла: тёплая, долгая, без дыма. Как огонь, который горит не потому, что его разожгли, а потому, что сам хочет гореть. Пауза. Потом смола — и после неё та же нота. Тёплая, долгая. Сама.

— «Огонь, отданный сам», — сказала я. — «Смола, отданная сама».

Потом — пауза, и в паузе — что-то живое, тёплое, без дыма вовсе. Кожа. Человеческая кожа. Не смола, не огонь — просто тело. И рядом с кожей — та нота, которой хранительницы подписывали таблички. Пудра ирисового корня.

Моя нота.

— «Открытая кожа у огня», — прочитала я. Голос дрогнул. — Открытая. Как я. Как мама.

Нико поднял голову.

— Это всё? — спросил он. — Огонь сам. Смола сама. Открытая кожа. Это три. Должно быть больше, да? Там ещё есть.

— Есть.

Я поднесла табличку ещё ближе. К самой трещине.

После кожи — пауза. Короткая. И потом нота, которой не было ни на одной из шести табличек. Тусклая. Серая. Холодная, как зола в очаге, который погасили и не разжигали много лет. Как…

Я не знала, как что.

Я знала только, что она грустная. Самая грустная нота, какую я слышала в жизни. Хуже горькой зелени. Хуже «Пустоты». Горькая зелень — это насилие, «Пустота» — это смерть. А эта была… потерей. Как пахнет вещь, которую когда-то любили, а потом положили в сундук и забыли.

После неё — одна нота. Короткая, тёплая — «огонь сам».

И потом — трещина.

Глина по краям трещины раскрошилась давно, ещё в нише, и запах ушёл вместе с ней. Дальше было пусто. Совсем. Я грела, нюхала, грела снова. Пусто. Если там и было продолжение — оно лежало сейчас под тремя плитами на Дымном мысу, в зале, который засыпало огнём Браса.

— Ну? — сказал Нико. — Что там? Последнее?

Я опустила табличку.

— «И то, что осталось», — прочитала я, — «от погашенного выбора».

* * *

Я пробовала собрать его три дня.

Без последнего — без того, что «осталось», — просто чтобы понять, что получится. Чешуя Армана — у меня ещё была половина в подкладке юбки, и я не тронула её: эту половину я берегла с зимы, сама не зная для чего. Взяла другую — ту, что Арман отдал мне сам, свежую, сбросив на тренировке во дворе форта. Смола — мой ладанник с мёдом. Открытая кожа — моя.

Получалось что-то тёплое, хорошее, честное — и совершенно бессильное.

Я не могла этого проверить. У нас не было ни одного дракона на поводке. Арман был свободен. Но я и без проверки слышала: это не то. Как песня, из которой вынули припев. Слова на месте, мелодия на месте — а песни нет.

— Чего-то не хватает, — сказал Арман, нюхая ленточку. Он сидел на подоконнике лаборатории, перевязанный, бледный, потому что Кора выпускала его из постели только ко мне и в форт. — Не знаю чего. Как будто… как будто дом, а в доме никто не живёт.

— Того, что осталось, — сказала я.

— От погашенного выбора.

— Да.

Он долго смотрел на ленточку. Потом сказал:

— Я погасил выбор. Свой. Твой. В Зале курильниц. Водой на угли. — Он помолчал. — Что от него осталось, Ирис? Пепел?

Я не ответила.

Пепел. Я подумала об этом ещё в первый вечер, над табличкой. Если это пепел, — значит, нужно то, что вода оставляет от брачной курильницы. Наш пепел. А такого у нас было…

У нас было две урны. В Сарране. В подвале, где бочки, за третьей от стены.

Я не сказала этого вслух. Табличка говорила «то, что осталось», но не говорила — чьё. И сколько.

Тесса сказала это за меня — сама того не зная.

Она зашла в лабораторию вечером, с подносом склянок для укупорки, и остановилась у стола, где лежала седьмая табличка. Рыжая, худая, с красными от щёлока руками. Наклонилась — она теперь наклонялась ко всему, что пахнет, как Нико, — и вдруг побледнела.

— Это что? — спросила она шёпотом.

— Табличка. Старая. Что ты слышишь?

Тесса молчала долго.

— Мамину ленту, — сказала она наконец. — У мамы в сундуке. Серая, на дне, под бельём. Её отец погасил, когда мне было шесть. Мама её никогда не доставала. А я доставала — тайком. Нюхала. — Она сглотнула. — Она пахла вот так. Холодным. И чуть-чуть — мамой.

Она поставила поднос и вышла, не дожидаясь, что я скажу.

Я сидела над табличкой и думала о коробке тёмного дерева с медной застёжкой, которая стояла у Коры в комнате, на полке над кроватью. Там лежала её лента. Выцветшая до цвета пыли. Двадцать два года.

* * *

Город готовился.

Я видела это из окна лаборатории — каждый день, с утра до ночи. Тальма не плакала и не бегала. Тальма считала.

Арман — в форте, перевязанный, злой, — разослал по городу ветеранов с ключами от колодцев: воду теперь брали по очереди, по меткам на ведре. Сержант Бруно с солдатами гарнизона таскал на холм к форту мешки с зерном из портовых складов. Хлеб считали: Кора и Сабина сидели вечером в задней комнате над Джулиными отцовскими книгами и делили муку на дни. Пекарь напротив, тот, чья жена прятала Элену, сказал, что будет печь, пока есть дрова, — а когда дрова кончатся, будет печь на мебели.

Детей решили прятать в подвалах. В винном погребе «Якоря», в подвалах ратуши, в старых соляных складах у гавани — там стены толще всех в городе. Мариса ходила по улицам с Нунцией и записывала: сколько детей, где живут, какой подвал ближе.

А кухни взяли женщины.

Никто не решал — просто взяли. Сабина пришла в первый же день в форт, к Арману, в фартуке, с мыльными руками, и сказала: «Гарнизон надо кормить. Сто двадцать человек. У вас повар один и тот пьёт. Дайте мне кухню». Арман дал. Через день на кухне форта командовали Сабина, Элена и Мелисса, а повар чистил котлы и был счастлив, что его не выгнали.

Кора — на своей кухне, у лавки. Для улицы Медных Весов. Для ветеранов. Для детей.

Ансельм таскал ей мешки.

Одной рукой. С пристани, по улице, мимо рыбного ряда, на плече — мешок муки, мешок соли, корзина рыбы. Ставил у порога, вытирал лоб и уходил за следующим. Кора ругалась: «Надорвёшься, дурень однорукий! Тебе кто велел?» Ансельм отвечал: «Никто», — и шёл за следующим.

На третий вечер он принёс ей рыбу. Не корзину — одну. Большую, серебряную, только что из сети. Положил на стол, на чистую доску, и стоял, глядя в пол.

— Это что? — спросила Кора.

— Рыба.

— Вижу, что рыба. Зачем?

— Тебе. — Ансельм поднял глаза. — Ты всех кормишь. А тебя никто.

Кора смотрела на рыбу. Потом — на Ансельма. Потом снова на рыбу.

— Дурень, — сказала она. Очень тихо. И отвернулась к плите.

Ансельм ушёл. А Кора долго стояла у плиты спиной к двери и не шевелилась. Я видела это из коридора. Я не вошла.

Лилиан в те дни почти не бывала дома. Я находила её то на пристани, то у лодочных сараев за рыбным рядом, где она о чём-то подолгу говорила с Ансельмом, — и замолкала, когда я подходила. Однажды вечером я видела, как она стоит на пирсе и смотрит на север, и в руках у неё — кусок парусины и моток верёвки. Я не спросила. Я помнила её «пока».

* * *

Немой корень я посадила в горшок на окне лаборатории.

Серая трава с Дымного мыса не завяла. Она стояла в горшке с землёй, жёсткая, тусклая, и не пахла ничем — так совершенно ничем, что, когда я наклонялась к ней, мне казалось, что я наклоняюсь к дыре в воздухе. К человеку без запаха. Корешки пустили в новой земле белые нити.

Я сварила из одного корешка — одного, самого маленького — «Тишину». Живой корень не нужно было настаивать двенадцать ночей, как сухой мамин: он отдал всё за одну.

По маминому рецепту. По последней странице маминой тетради, которую я нашла осенью в шкатулке: соль, серебряный мох, немой корень. «Корень брать только у…» — и пятно от воды. Теперь я знала у кого. У скал Дымного мыса, где он растёт в каждой щели.

Получилась одна маленькая склянка. Я капнула на запястье — и Фитиль под столом поднял голову и посмотрел на меня так, как смотрел когда-то: как на закрытую дверь.

Работало.

Я смыла сразу. Склянку поставила на полку органа — рядом с тёмным флаконом «Тишины», полным меньше чем на треть. Две «Тишины». Из маминого корня и из моего.

Мне больше не нужно было прятаться. Но в городе, к которому шёл флот с пятью драконами на поводке, могло понадобиться спрятать кого-то другого.

* * *

Вечером девятого дня я снова взяла седьмую табличку.

Я не надеялась ничего прочитать. Просто держала её в ладонях, на чистом льне, — серую, треснувшую, — и грела. Тусклая нота перед трещиной поднималась над глиной, тонкая, холодная, как зола в погасшем очаге. Самая грустная нота на свете.

Я вспомнила ночь погашения. Зал курильниц. Нашу брачную курильницу на помосте — бронзовую, на трёх львиных лапах, с охряным драконом над холмом на крышке. Как Арман лил на угли воду из серебряного кувшина. Как угли шипели. Как поднимался белый пар. И как пахло — потом, когда пар ушёл.

Мокрой золой. Холодной. Тусклой. Мёртвой.

Я поднесла табличку к лицу ещё раз.

Похоже. Очень похоже. Но не то же — что-то в этой ноте было ещё, чего я не могла поймать. Что-то, что не умерло вместе с огнём.

«И то, что осталось от погашенного выбора».

Я не знала. Но, кажется, знала, где искать.

Что остаётся от выбора, когда его гасят водой при всём дворе?

Глава 8. Право — ложь

Совет собрался в старом форте, в карт-комнате под крышей.

Не в Зале курильниц. Не в Альбере. Здесь, в Тальме, — в длинной светлой комнате с окнами на гавань и на открытое море, с огромным столом, на котором лежали карты, придавленные чернильницами, пустыми кружками и чьим-то кинжалом. Почти год назад я стояла у этого стола и разбирала на ленточки флакон Лилиан, а Арман смотрел на меня, как на врага.

Теперь он сидел во главе стола. Перевязанный под мундиром. Без цепи.

И слушал, как лорды рассаживаются.

Их было семеро. Гвидо Монтеро — огромный, гранатовый, со своей бородой, занявший два места сразу, — приплыл на «Сабине» вчера вечером. Тибо Дорсан — тяжёлый, сизый, молчаливый, — прилетел на рассвете и до сих пор не снял дорожного плаща. Ренье — нервный, серебристо-серый, с поджатыми губами, — тоже прилетел. Сам. Я не ждала его после того письма. Он сел у самой двери, на краешек скамьи, как садятся люди, которые готовы встать и уйти.

И ещё четверо. Двое южных лордов из соседних уделов — старый Фальер из Сольмаре, белый как лунь, и молодой Бастид, рыжий, с упрямым подбородком. Один северный, которого я не знала, — высокий, костлявый, с лицом, на котором ничего нельзя было прочитать. И лорд-адмирал Восточной эскадры, Корде, которого Гвидо притащил с собой, «потому что он мне должен».

Семеро. Из двадцати двух Великих домов.

— Мало, — сказал Гвидо, оглядев стол. — Ну, ничего. Сарран тоже начинался с трёх.

Я стояла у окна, рядом с Корой. На столе передо мной, на чистом льне, лежали семь табличек.

* * *

Арман говорил коротко. Указ. Флот, который вышел из Альберы. Пять драконов на поводке. Дымный мыс. Таблички.

Потом посмотрел на меня.

— Мастерица Мерель прочитает вам то, что в них, — сказал он. — Не мне вам говорить, что она умеет читать то, чего не видно глазами. Вы все были в Сарране или слышали про Сарран. Она читала там пепел.

Я подошла к столу.

Взяла чёрную табличку — договор. Согрела в ладонях. Два дыма поднялись над глиной, и я почувствовала, как в комнате что-то изменилось. Не воздух — люди. Семь драконов за столом одновременно, как по команде, подняли головы.

Я прочитала им договор.

По нотам. Медленно. Так, как читала Арману в каменном зале под мысом: огонь чует, смола выбирает; ни огонь не возьмёт смолу без её выбора, ни смола огонь без его; это договор; метка цветёт на обоих. Потом — третью табличку: огонь трона взял смолу без выбора и назвал это законом. Потом — о хранительницах, которых сделали сторожами.

Когда я кончила, в карт-комнате было так тихо, что я слышала чаек над гаванью.

— Это фокусы, — сказал северный лорд. Голос у него был сухой, ровный. — Глина. Запахи. Девица, которую двор объявлял ведьмой, говорит нам, что право, которому сотни лет, — подделка. А мы должны верить её носу.

— Не моему, — сказала я. — Своему.

Я протянула ему чёрную табличку.

Он не взял. Смотрел на неё, как на змею.

— Возьмите, милорд, — сказал Арман негромко. — Согрейте. Вы дракон. Ваш зверь услышит то, что услышит. Мне не нужно, чтобы вы верили ей. Мне нужно, чтобы вы послушали сами.

Северный лорд долго смотрел на Армана. Потом протянул руку — нехотя, двумя пальцами, — и взял табличку. Положил на ладонь. Накрыл второй.

Я видела, как меняется его лицо.

Не сразу. Сначала — ничего: сухая, неподвижная маска. Потом дрогнули ноздри. Потом — плечи. Он сидел, сжав табличку в ладонях, и плечи у него опускались, как опускаются у человека, который много лет нёс тяжёлое и вдруг поставил его на землю. Лицо разгладилось. Глаза закрылись.

— Тихо, — сказал он хрипло. Не нам — себе. — Тихо стало.

— Что тихо, милорд? — спросил Гвидо.

Северный лорд открыл глаза. Они были мокрыми.

— Он, — сказал лорд. — Мой. Зверь. Он всю жизнь… всю жизнь как будто в клетке ходил. Взад-вперёд. Я думал — так у всех. А сейчас… — Он посмотрел на табличку у себя в руках. — Сейчас он лёг.

Он передал табличку Фальеру. Фальер — Бастиду. Бастид — Корде. Я видела одно и то же лицо: удивление, потом тишина, потом — у кого слёзы, у кого стиснутые зубы. Гвидо держал табличку в огромных ладонях долго, дольше всех, и потом сказал только: «Семь ветров» — и отдал Дорсану.

Дорсан передал её Ренье.

Ренье взял. Согрел. Я видела, как у него дрогнули губы. Как он закрыл глаза — и тут же открыл, испуганно, словно его ударили. Он положил табличку на стол — быстро, будто она жглась.

— Это не меняет ничего, — сказал он. Голос у него срывался. — Пусть даже правда. Пусть даже договор. У трона — флот. У трона — гвардия. Пять драконов на поводке идут сюда, на Тальму. Что мы сделаем — прочитаем им глину?

Никто не ответил.

Ренье встал.

— Простите, — сказал он. — Простите. У меня жена и дочь. Я… я не могу.

Он пошёл к двери. На пороге остановился — на миг, словно хотел что-то сказать, — и не сказал. Ушёл. Мы слышали, как он спускается по лестнице. Потом — крылья над двором форта.

Шестеро.

Молодой Бастид смотрел на дверь, за которой ушёл Ренье, и кусал губу. Потом посмотрел на Армана.

— Я остаюсь, — сказал он. — Но я хочу знать — зачем. Что мы делаем, генерал? Тальму защищаем? Тебя? Её? — Он кивнул на меня.

— А нас кто-нибудь спросит?

Сабина стояла у двери — в фартуке, с мокрыми руками, прямо с кухни форта. Я не видела, как она вошла. За ней — Элена. За Эленой — Мариса.

Лорды обернулись. Шестеро драконов за столом смотрели на трёх женщин в фартуках, и я видела, как у Гвидо краснеет шея.

— Вы тут говорите про выбор, — сказала Сабина. Голос у неё был спокойный, ровный — голос женщины, которая двенадцать лет командовала прислугой цитадели. — Огонь чует, смола выбирает. Это мы — смола, милорды. Нас гасили по этому праву. Меня. Элену. Леди Камиллу — двадцать два года назад. — Она кивнула на Кору у окна, и Кора выпрямилась, как выпрямлялась на рынке, когда торговка пыталась её обвесить. Сабина помолчала. — Вы будете решать, что с этим правом делать. Хорошо. Только в этот раз — при нас.

Тишина. Потом Гвидо, багровый до самой бороды, встал и молча подвинул ей свой стул.

Сабина не села. Она встала у стены — так, чтобы её было видно. Элена — рядом. Мариса — рядом с Эленой.

Больше их никто не просил уйти.

* * *

Арман

Я встал.

Рана под рёбрами дёрнула. Я не обратил внимания.

— Право истинной, — сказал я, — двести лет держит нас за нос. Это я говорил весной в Зале курильниц. Я тогда не знал, сколько лет на самом деле. — Я положил ладонь на чёрную табличку. — Больше. Сотни. С тех пор как первый император взял женщину без её выбора и велел записать это законом. И каждый из нас за этим столом вырос с этим законом. Каждый из нас слышал от отца: зверь выбрал — значит, так надо. Каждый, у кого зверь выбрал, гасил брак и считал, что прав.

Я посмотрел на Гвидо. Гвидо отвёл глаза. На Дорсана. Дорсан смотрел в стол.

— Я погасил жену на пиру, — сказал Гвидо в бороду. — При капитанах. Морской водой. Сказал: «Пусть море погасит». И капитаны пили за мою истинную. — Он поднял голову и посмотрел на Сабину у стены. — А она стояла у двери. Как сейчас.

Сабина не опустила глаз.

— А под этим правом, — сказал я, — Гильдия вязала нас поводками. Отца моего. Меня. Монтеро. Дорсана. Наследника. Потому что если выбирает зверь, — зверю можно подсунуть выбор. А если выбирают двое…

— Двоим не подсунешь, — сказал старый Фальер. Хрипло, себе под нос. — Двоим не подсунешь, нет.

— Двоим не подсунешь, — повторил я.

Я обвёл их глазами. Шестерых лордов из двадцати двух. Седого Фальера. Рыжего Бастида. Корде, который был должен Гвидо. Северного лорда, у которого всю жизнь в клетке ходил зверь. Гвидо. Дорсана.

— Император знает, — сказал я. — Он украл двенадцать табличек из нижнего хранилища. Он сжёг Дымный мыс. Он варит из её запаха поводок на всех нас — сразу, в День Сорро, у Большой курильницы. Он знает, что право — ложь. И он будет держать эту ложь, потому что на ней стоит его трон.

Тишина.

— Значит, так, — сказал я. — Если трон не отменит право истинной — мы отменим его сами.

Бастид смотрел на меня. Корде — тоже. Северный лорд медленно кивнул.

— Как? — спросил Дорсан. Впервые за весь совет.

— Не знаю, — сказал я. — Ещё не знаю. Таблички сказали нам, что такое договор. Они ещё не сказали, как его вернуть. Седьмая обрывается. Остальное — под камнями на Дымном мысу. — Я посмотрел на Ирис. — Но она найдёт. Она всегда находит.

Ирис стояла у окна. Она не смотрела на меня. Она смотрела на море.

И лицо у неё было белым.

* * *

Ирис

Я увидела их первой. Потому что стояла у окна и смотрела на север, — туда, откуда шёл флот. Я смотрела туда весь совет. Не могла не смотреть.

«Она найдёт. Она всегда находит».

Он сказал это при шести лордах, при Сабине, при Коре. Так, словно говорил о погоде. А я стояла у окна и думала о седьмой табличке — о трещине через всё поле, о тусклой холодной

ноте перед ней, о пепле, про который табличка молчала — чей он и сколько его нужно. И о том, что «всегда» — это очень много для женщины, у которой до конца ленты осталось сорок три дня.

Сначала — ничего. Серое море, серое небо, тонкая белая полоса на горизонте, где они сходятся. Потом — точка на этой полосе. Потом — ещё одна. И ещё.

Паруса.

Белые. Много. Они вырастали из горизонта один за другим, как вырастают зубы в пасти, — пять, семь, десять, двенадцать. Под белыми флагами. На флагах — я не видела, но знала — дракон над морем.

Двенадцать кораблей. Матео не ошибся. Ветер с моря донёс до меня — слабо, издалека, сквозь соль и смолу гавани — горькую зелень. Ту же, что в воске печати.

А над ними, в сером небе, высоко над мачтами, шли трое.

Белый — впереди. Сверкающий, как кость. За ним — пепельный, тяжёлый, с рваным крылом. И третий — тёмно-бронзовый, огромный, с крыльями, широкими, как паруса.

— Арман, — сказала я. Голос не слушался. — Арман. Посмотри.

Он подошёл к окну. Посмотрел. Я слышала, как у него остановилось дыхание.

— Брас, — сказал он. — Кассар. — Пауза. — И Мартен.

Лорды за его спиной вскакивали со скамей. Гвидо уже бежал к лестнице, на ходу расстёгивая мундир. Кора рядом со мной сжала мне руку.

Пять дней морем. Меньше, если ветер. Ветер был.

Они пришли на два дня раньше.

Глава 9. Осада

Двенадцать кораблей встали у входа в гавань полукругом — и закрыли её.

Не стреляли. Не высаживались. Просто встали — от маяка на мысу до скал у старой пристани, бортом к городу, на расстоянии, на которое не долетит болт с берега. Белые паруса свернули. Белые флаги с драконом над морем подняли выше. И стали ждать.

Рыбацкие лодки не вышли в море в то утро. И на следующее. Торговое судно из Ларго, которое пришло на третий день с грузом соли, развернули у самого маяка — я видела с крыши, как с флагмана гвардии спускают шлюпку, как шлюпка идёт к торговцу, как торговец поднимает паруса и уходит обратно на запад, к Ларго, не войдя в гавань.

Тальма была заперта.

— Они не будут штурмовать, — сказал Арман в первый же вечер. Он стоял у окна картомнаты и смотрел на корабли. — Им не нужен город. Им нужно, чтобы город захотел меня отдать.

— Город не захочет, — сказала я.

— Через месяц без рыбы и хлеба — захочет.

Он сказал это спокойно, без злости. Как говорят о погоде, которая придёт.

* * *

Хлеб считали по головам.

Джулия — та самая, которая прошлой осенью нашла в отцовских книгах двойную уплату долга Марисы, — сидела в задней комнате лавки над огромной расходной книгой и считала: сколько муки на складах, сколько ртов в городе, сколько дней. Кора стояла у неё за плечом и ругалась. Сабина приходила из форта каждый вечер с цифрами гарнизона. К третьему дню у Джулии вышло: если давать каждому по полкаравая в день — на двадцать шесть дней.

— А потом? — спросила Нунция.

— А потом — рыба, — сказала Джулия. — Если пустят.

— Не пустят, — сказала Нунция и плюнула в сторону гавани.

Воду брали по меткам на ведре, и никто не спорил. Даже жена пекаря, которая спорила со всеми и всегда.

Больше всего детей свели в соляные склады у гавани — длинные, низкие, с каменными стенами толщиной в два локтя, где под потолком ещё стояла белая соль, а в углах горели масляные лампы. Полторы сотни детей с половины города. С матерями, с бабушками, с корзинами еды и одеялами.

Они не плакали. Это было хуже всего. Они сидели на мешках и на соломе, тихие, с большими глазами, и слушали, как над городом иногда проходят крылья.

* * *

Мне пришло это в голову на второй вечер.

Я спустилась в соляной склад с Нико — отнести масло для ламп — и увидела девочку. Лет пяти, с косичкой. Она сидела на мешке у самой стены, прижимала к лицу какую-то тряпку и дышала в неё.

— Что это у тебя? — спросила я, присев рядом.

Девочка посмотрела на меня. Не отдала тряпку.

— Мамин фартук, — сказала её мать, сидевшая рядом. Устало, виновато. — Кусок. Отрезала ей — она без него не засыпает. Говорит — он пахнет домом.

Я посмотрела на девочку. На кусок фартука у её носа. На полторы сотни детей вокруг, в тусклом свете масляных ламп, среди соли и сырости.

«Запах себя». Лилиан. Молоко кормилицы, сирень у окна детской, мокрое дерево подоконника.

«Прощение». Монсо и Матильда. Сушёные фиги на крыше, крахмал, мокрый камень двора.

Запах дома.

— Нико, — сказала я. — Беги в лавку. Неси мешочки — те, льняные, для саше. Все, сколько есть. И ленточки. И уголь — записывать.

* * *

Мы делали их три ночи.

Я садилась на мешок с солью, с корзиной мешочков на коленях, и подзывала детей по одному. И матерей. И спрашивала.

— Чем пахнет у вас дома?

Матери не понимали. Смотрели на меня, как на сумасшедшую. Потом начинали вспоминать — сначала неуверенно, потом всё быстрее, перебивая друг друга, как будто я открыла дверь, за которой они давно ничего не держали.

— Рыбой, — говорила жена рыбака. — Ну, сетями. Дёгтем. Он их дёгтем мажет. И печкой.

— Хлебом, — говорила пекарева дочка. — Отцовым хлебом. С тмином.

— Апельсинами, — говорил мальчик лет семи, сам, не дожидаясь матери. — У нас во дворе дерево. Я с него падал.

Я слушала. Записывала. Потом — к столу, который Ансельм сколотил нам у стены из ящиков, и составляла. Немного. Просто. Для каждого — своё. Щепоть тмина и корочка хлеба для пекаревой дочки. Капля дёгтя на нитке, смола, сухая морская трава — для рыбацкого сына. Апельсиновая корка, сухая, с горечью, и листок с того самого дерева, за которым мать сбегала домой, — для мальчика, который падал.

Нико растирал. Тесса и Мелисса зашивали мешочки. Дара сидела среди малышей и пела им — тихо, без слов, ту самую пасечную песню, которой её научила Мелисса.

Это не были действующие ароматы. Никакой Гильдии не пришло бы в голову брать за них взнос. Это была ерунда. Тмин, корка, дёготь, нитка.

Но на третью ночь в соляном складе было тихо по-другому.

Не страшной тишиной. Сонной. Полторы сотни детей спали на соломе и на мешках, и у каждого возле лица — маленький льняной мешочек, и над складом стоял запах — не соли и сырости, а сотни домов. Рыбы и хлеба, апельсинов и печей, тмина и дёгтя, мыла и молока. Весь город. Каким он был до кораблей.

Я сидела у стены и слушала, как они дышат.

Мать девочки с косичкой подошла ко мне в темноте. Постояла. Потом молча поцеловала мне руку — быстро, неловко, — и ушла обратно к дочери.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.